ГАЗЕТА РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
“ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ”
НАШ САЙТ: denlit.ru
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:
denlitera@yandex.ru

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ГАЗЕТА РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
“ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ”
№ 6(260) – 2018

"Человек – одинокий до звёзд"

К 80-летию Игоря Шкляревского

Марина МАСЛОВА

***"П**оэзия – как запах скошенного клевера. Вроде, совершенно бесполезная вещь, а обойтись без неё нельзя. Как без природы и солнца…".*

"Небо Могилёва", "скошенный клевер" и "родимые пятна от костров" на берегах Днепра, Двины и Припяти – вот "настоящая" биография поэта Игоря Шкляревского. Без "честолюбивых дат" и "трудовых вех", столь обязательных в любой творческой биографии…

"Поэт – суверенная величина, единственное число, явление неповторимое. Я бы посчитал себя несчастным, если бы принадлежал к какой-нибудь поэтической группе. Поэзия то, что сделано из одного воздуха, она завораживает и всё…" – так размышлял Игорь Шкляревский в апреле 2006 года. А в 2008-ом, юбилейном для Игоря Шкляревского (70 лет!), Евгений Рейн по-своему подтвердил эту желанную для поэта закономерность: "Есть поэты, у которых генеалогия проступает очень явно. Этого нельзя сказать о Шкляревском. Трудно сказать, какова его поэтическая генеалогия, от кого он происходит в русской поэзии. Он в этом смысле человек совершенно особый и отдельный".

В 1990 году вышла в свет замечательная книга поэта, переводчика и публициста Игоря Шкляревского "Избранное" *(М., "Художественная литература")*. Одна из лучших, на наш взгляд.

На сайте филологического факультета МГУ сегодня можно прочесть о ней следующее: "В "Избранное" под общим названием "Чертополох" включены стихотворения, которые по цензурным соображениям исключались из предыдущих сборников. Всегда стремящийся быть искренним, И.Шкляревский был и остаётся и патриотом, и крамольником, его стихи передают и то, и другое состояние, – и самое главное в том, что И.Шкляревский искренен в обоих случаях и верит в то, что говорит".

Сегодня произведения Игоря Шкляревского иногда относят к "русскоязычной литературе Беларуси". Имя Шкляревского при этом стоит в одном ряду с такими авторами, как Анатолий Аврутин, Вениамин Блаженный, Юрий Сапожков, Анатолий Делендик и другие. Однако уточняется и то, что Игорь Иванович Шкляревский сегодня "признанный писатель в России".

В 2002 году Шкляревский пишет книгу "Прощание с поэзией", где с горечью размышляет: "По-моему, в России решили, что поэзия нам больше не нужна, и можно обойтись без неё. Это выглядит дико в стране, где стихи были средством общения. Признание, типа "я не люблю стихи" или "я не понимаю стихи", – это ведь всё равно, что сказать: я не понимаю красоты, я не люблю родину. Тогда кто ты такой и что с тобой происходит?".

Хочется предположить, что поэзия Игоря Шкляревского как раз и помогает иногда читателю разобраться в том, кто он такой (читатель) и что с ним происходит. И если бы подобного впечатления не было, то, скорее всего, не было бы и повода для нынешних размышлений…

***В**ладимир Бондаренко в цикле очерков "Последние поэты Империи" писал об Игоре Шкляревском: "Книга его стихов мне, безусловно, понравилась, но скорее своей откровенностью, чем жизненной позицией. Сам поэт производил куда более сложное впечатление. В жизни он как бы оборонялся ото всех сразу, избегал близкого общения. Запланированная беседа с ним срывалась раз пять, пока я не понял, что эта беседа Игорю Шкляревскому не нужна, и не потому, что предполагаемый собеседник ему чужд, а потому, что сам жанр беседы – это попытка прорваться в глубоко запрятанный мир поэта, заглянуть в его личную жизнь. Насколько я понял, он вообще редко кому в жизни давал интервью. И вся его общественная жизнь – это искусные баррикады, ничего не проясняющие в нём самом. Пусть он числится сопредседателем одного из союзов писателей, членом жюри разных премий – это всё по касательной. По-настоящему он живёт лишь наедине с природой, для него и стихи – такая же часть природы, такая же стихия, где нет места другим".*

***Д**а, действительно… "Где нет людей, там я не одинок", – сказал однажды о себе поэт. Восприятие поэзии Игоря Шкляревского сопряжено для читателя с определёнными противоречиями. С одной стороны, ощущается необыкновенная лёгкость миросозерцания, безмятежность и безоглядное доверие к природе. С другой стороны, на все эти светлые душевные качества его лирического героя ложится тень горького разочарования от общения с людьми. И если бы только это…*

В статье Вл. Бондаренко многое из того, что хотелось бы сказать о стихах Шкляревского и о личности его, скупо отраженной в этих стихах, – уже сказано. Убедительно и весомо сказано. Так что нам остаётся лишь то, что касается личного, во многом, может быть, слишком эмоционального восприятия, обусловленного стечением тех жизненных обстоятельств, которые и сделали поэта Игоря Шкляревского одним из душевно родственных и во многом духовно близких нам писателей, несмотря на все его сомнения и даже опрометчивое отрицание "человечности" Творца. Вот это мнимое (или кажущееся мнимым?) отрицание, быть может, и является главной претензией, предъявляемой поэту современниками в том, что касается духовных воззрений автора известных строк:

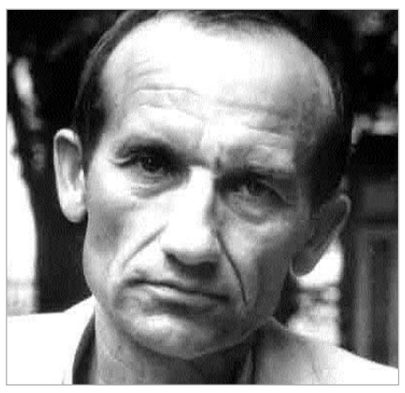
Ты Бог! Но Ты не гений
Своих земных творений,
Завистливых и злых.
Ты только Бог растений…
…Но Ты не Бог людей.

Прочитываешь – и не веришь глазам, перечитываешь – и снова не веришь… Мог ли такое написать поэт?! И всё-таки воспринимаешь эти его бунтарские строчки не с "праведным" негодованием, а с болью и сожалением: может быть иногда и так... так может чувствовать человек, уязвлённый болью обиды, горечью разочарования…

И первым ответным движением – навстречу этим стихам – возникает в душе молитва: Боже, милостив буди нам, грешным! И прости нас, что мы – такие…

Может, и невиновен человек в этом своём одиночестве. И больно ранят нас строчки поэта, не вызывая протеста или попытки самооправдания… Что, вот, мол, как посмел он оспорить Тебя, милосердный наш Боже! как посмел усомниться в Твоей любви?! "Ты только Бог растений… Но ты не Бог людей".

Да, холодком священного озноба обтекают душу верующего эти строки. Но не в том ужас, что дерзнул поэт их написать. Ощущение ужасающего трагизма исходит из понимания, что душа его соприкоснулась в жизни с такой болью



и напряжением, какие вынести не смогла, уязвилась ожесточением против грубости человеческой, попыталась укрыться от неминуемости встреч не только с людьми… а даже и с Богом!

А куда ей укрыться в этом мире, сотворённом Тем, Кто не кажется ей милосердным? Некуда. Остаётся только сам этот мир полюбить вне людей, без людей. Как и Бога… тоже – вне… в одной только природе… В "растениях", во всём, что растёт (живёт) на земле – деревья, травы, грибы, насекомые, звери и птицы... Только не человек. Его любить не за что. Он не творение гениального Бога. Так, случайность… Гениальна природа (растительный и животный мир), и только она свидетельствует о гениальности Творца. Человек эту гармонию – увы! – опровергает. "Ты только Бог растений"… Но ведь это не "натурфилософия и пантеистическое видение мира", как показалось, к примеру, Галине Седых, написавшей послесловие к книге поэта. Может, это трагический отказ принять единство тварного мира, где человеку уготована Богом роль хранителя, возделывателя и властелина? Это признание гениального совершенства одной части творения – дикой природы – и отказ в этом совершенстве миру людей. И это не философская идея, о которой можно рассуждать как об одной из граней мировоззрения поэта. Это болевое опытное ощущение, жизненный вывод, результат живого созерцания гениальной простоты неба и красоты полевого цветка, ещё не растоптанного ногой человека:

…И только небо потрясало
меня своею глубиной.

О том же пишет и Вл. Бондаренко, считая, что ни к какой "философии" поэт "не стремится, не медитирует, а уйдя в добровольное затворничество, избегает и презирает мир людей и напряженно вслушивается в хорошо ему с детства знакомый мир зверей, птиц и лесов. Он всё-таки живёт не памятью, а впечатлениями".

И вот тут происходит удивительное.

В доказательство своего мнения Вл. Бондаренко приводит стихотворение Шкляревского "Мелькнули в книге белые страницы…":

Мелькнули в книге белые страницы,
И не пеняй на типографский брак.
С четырнадцатой – улетели птицы,
С шестнадцатой –
ручей удрал в овраг!
И лес в леса ушёл из этой книги –
Опять стоит на берегу Днепра…

И далее звучат строки, читая которые, даже не сразу осознаёшь их смысл, но вдруг за собою замечаешь, что ты, минуту назад плакавший над трагическими словами о "негениальном" Боге, на которого обиделся человек, здесь уже радостно улыбаешься, пытаясь вообразить картинку, нарисованную влюблённым в природу художником:

…И две строки о спелой землянике
лежат на дне прохладного ведра.

Такую эмоциональную метаморфозу хочется снова оправдать словами всё того же Вл. Бондаренко о стихах Шкляревского: "Когда он пишет о природе, о росе, о форели – он жизнерадостен, весел, звучен, когда он поворачивается к цивилизации – он зол и беспощаден, угрюм и желчен".

Удивительно, что в том же 2000 году, когда была написана грустная статья Владимира Бондаренко о неприкаянности поэта среди людей, сам поэт Игорь Шкляревский был удостоен церковной награды – Грамоты экзарха всея Беларуси Филарета "Во внимание к трудам на ниве церковной, в память 2000-летия Рождества Христова". Мы мало знаем об этих трудах. Знаем о лесе, высаженном в 1987 году, после Чернобыльской трагедии, на Могилёвщине, родине поэта, "руками", то есть средствами самого поэта (на Государственную премию СССР). Ещё о том, что стихи его, случается, переписывают игуменьи монастырей, чтобы душевно взбадривать иногда впадающих в уныние послушниц…

А ведь было неприятие мира… и кажущееся отторжение Творца?.. Может, всё-таки мнимое это было бунтарство?

И если высадку леса ещё можно понять как "натурфилософский" жест, как деяние во славу "Бога растений" (лучше здесь улыбнуться христианину, нежели возроптать на поэта за такое определение), то стихи, умиряющие душу, – это уже во славу Божию, без ограничения Его "полномочий" в мире людей.

Я любил эту голую стену.
Тополя шелестели в окне,
и прохладный серебряный невод
трепетал на вечерней стене.
Свет небесный её серебрил.
Я с разбитым лицом приходил,
и печальные тени ветвей
прикасались нежнее, чем руки.
И шумели над жизнью моей,
над позором, и болью, и мукой.

Трудно представить человека, у которого бы – по прошествии лет – не было за спиной хотя бы самого тихого эха этой трагически гулкой строки: "над позором, и болью, и мукой"… А вот эти стихи помогают понять, почему "непонятные люди Земли" вдруг вызывают презрение у присматривающегося к ним поэта:

В детстве меня волновала Луна,
бледного света печальная сила,
сердце моё подымала она
и над несчастной Землёю носила.
Там внизу целовались в руинах,
там какие-то тени людей
матерились в кустах соловьиных
и неправде учили детей.
Там в супы керосин подливали,
выбегали с ножом на крыльцо
и последний кусок отдавали,
и над книгой сияло лицо.
Там в ничтожных слезах умиленья
догоняли, совали рубли,
и кляли, и просили прощенье
непонятные люди Земли.

Лирический герой Шкляревского долго ещё надеялся "что-то придумать" для людей, его томила жажда героизма, потребность в величии духа:

…Летом, когда из окна
на подушку луна светила,
я людям не мог простить,
как им не стыдно красть,
как им не стыдно жрать,
пакостить, врать, юлить.
В такую лунную ночь
я смертным хотел помочь,
я мечтал что-нибудь придумать…

Но поначалу ничего не "придумалось"… Быть может, сила отчаянья возрастала от нахлынувшей тоски, так что страдающему герою слышен был везде только плач и стон, и от настигшей тело жгучей физической боли:

На земле извиваюсь от боли.
Ненавижу цветы и траву!
Ненавижу небес синеву!
И за что мне такое?
Никого не убил и не предал,
чтобы так извиваться
и скулить, передразнивая зверьё.
...Бога нет! Ангел не прилетит.
Кто стоит надо мной?
Брата вдруг по одежде узнаю.
Ничего у него не болит.
Зверя с дробью в боку понимаю.
Он забился в кошмары болота,
лижет, лижет в боку огонь.
Ни души! Только плач в небесах,
только стон самолёта.

…Наступает момент, когда душа, изнемогшая от боли, перестаёт ждать исцеления и тепла. Она становится ожесточённо-самодостаточна и осторожна, упредительно равнодушна к встречному человеку. И вот когда люди становятся лишь холодными "стенами" и "столбами" друг для друга, тогда изнемогшая душа одного и отстраняется от ставших чужими людей, пытается укрыться от невольного – но и неизбежного при таком равнодушии – насилия над собой. Лирический герой Шкляревского остаётся пока ещё открытым и уязвимым. Он томится предчувствием чего-то грозного, уходит в лес и в дикое поле, и в порыве будоражащей его любви готов "бежать спасать… и сразу всех обнять, и всё отдать":

Дышали на него из темноты
все травы, корни, смолы и цветы.
Хотелось плакать и бежать спасать.
И сразу всех обнять, и всё отдать!
Обида, счастье – налетали вдруг.
И он не знал, что это тёмный ветер
расшевелил уже подсохший клевер,
уже гроза надвинулась на луг…

О самой жгучей причине неприятия техногенной цивилизации и обустроивших её людей поэт заговорит прозой. Он ничего не проклинает, пишет тихие простые слова. Но отчего-то спазмом боли и сострадания сжимает сердце читателя эта протестующая проза поэта. И можно было бы ещё усомниться в "праведности" такого отрицания цивилизации, если бы мы забыли, откуда родом душа его поэзии…

"Клеверные луга, белые обрывы Сожа, тихая речка Проня. Сколько моих костров горело на этих обрывах, сколько ночей провёл я в стогах, вдыхая запахи клевера. Вставало солнце, и я вылезал из тёплой норы с сухими цветами в волосах, отряхивая цветочную пыльцу дочернобыльской эры. Теперь на этих лугах затаился цезий…". Необъяснимо и мощно воздействие этих строк!

"Нельзя, нельзя, нельзя… Впервые в истории человечества – крах генетической памяти. Асфальтовый тупик детства и тайная погибель чувствительности. Ведь в сознании угасают источники радости, поиска и благодарности жизни. А какие остаются? Лени, страха, безучастия. Их становится больше, равновесие в сознании нарушилось…".

***Н**еоднозначно может быть воспринято и содержание стихотворения, более всего смущающего многих читателей и критиков: "Ты Бог! Но Ты не гений...".*

Когда из этого контекста убираются золотые листья, облака, туманы, горы, степи и океаны, остаётся действительно угрюмая "натурфилософия". И если в качестве аргумента предлагать такой "кастрированный" фрагмент стихотворения, то воистину никому не придёт в голову защищать поэта от обвинений в гордыне.

А вот когда текст стихотворения воспринимается в цельности, со всем его образным рядом, рождающим соответствующее эмоциональное впечатление, тогда отчётливо виден мотив упрёка. Почему люди, сотворённые Тобой, не производят впечатления такой же гениальности, как эти прекрасные золотые листья, как эти утренние туманы, как эти горы, леса и степи, как эти невесомые таинственные облака?! Как могло статься, чтобы гениальность природы, сотворённой для человека, вдруг превзошла того, в служение которому она была предназначена?! Или человек не был Твоей гениальной задумкой, а появился случайно, из известного набора хромосом? Разве Ты – не Бог людей?!

При такой последовательности поэтической мысли нам уже не кажется позиция автора "предъявлением счёта" Богу. Да, обида налицо. Да, это даже бунт. Но это бунт отчаяния, а не наглой гордыни. Это переживание боли, а не надменности.

(полная версия – на сайте)

Сквозь сумрак времён

К 70-летию Анатолия Аврутина

Светлана СЫРНЕВА

***…И** чудится, что в мире ты один,*
Кто этакой порой читает Блока.

Один поэт читает другого поэта. Читает ночами, читает "истово", примеряя на себя его судьбу: *"Я тоже бы принял чужого младенца, / Когда бы младенца она принесла".* Читает так, словно хрестоматийный, антибуржуазный, "огнедышащий" Блок, "трагический тенор эпохи" (по определению Ахматовой) всё ещё не прочитан нами.

С блоковских времён прошло сто лет, и России понадобился новый трагический голос в поэзии. Не читатель, а собеседник Блока, Анатолий Аврутин преодолевает время и перекликается с любимым поэтом в своих мыслях о Родине.

Александр Блок:
...А ты всё та же: лес да поле,
Да плат узорный до бровей…

Анатолий Аврутин:
...Сколь платков ни нашей –
будет Родина простоволоса,
Сколь монет ни подай –
будет пусто в усталой горсти…

Александр Блок:
…Так – я узнал в моей дремоте
Страны родимой нищету,
И в лоскутах её лохмотий
Души скрываю наготу…

Анатолий Аврутин:
…Сирая Родина! Божии светы!..
Над пепелищем поник чернобыл.
Сколько их, канувших,
что не отпеты –
Люди забыли и Бог позабыл!

"Пыльная", "больная", "забытая" Отчизна, "где стылые дуют ветра, / Где вечно забыты суровой судьбины уроки"; холодная, сумрачная Родина.

Как будто бы из всех родимых мест
Родимый дух ушёл в слепые дали.
Как будто бы с груди
нательный крест
Лихие люди в бешенстве сорвали…

Отчизну, "где монахи крадут, / Где Антихрист стал страстно молящимся", некому защитить: "чей-то голос кличет Пересвета", а в ответ: "Все наши полегли…"; "И горячим июлем / Всё избы горят по России, / Ибо некому стало / В горящую избу войти…".

Последнее, что осталось, – сыновняя любовь к Родине и к её народу. Но и она в этих обстоятельствах принимает болезненные, мучительные формы:

И в душе запеклась,
Будто кровь на обветренной ране,
Вековая обида
За этот забытый народ,
За того мужичка,
Что с получки ночует в бурьяне,
И всё шарит бутылку…
А всё остальное – не в счёт.

Трагизм восприятия судьбы своей страны доходит у Аврутина до предела, и порою вслед за ним читатель испытывает "только ужас – Отечеству равновеликий":

Есть два понятья –
Родина и смерть,
Которые почти неразделимы…

В душе Блока ещё могли рождаться феерические надежды и дерзновенные мечты. Он то прозревал в России новую Америку (неизведанную страну, которая поразит мир своей экономической мощью), то угадывал в метельном вихре революции второе пришествие Христа, избравшего своими апостолами рядовых красногвардейского патруля.

Но у Аврутина, который скован событиями новейшей истории, нет таких надежд. Двадцатый век остался у него за спиной. Революция, братоубийственная гражданская война, создание невиданной доселе цивилизации – Страны Советов, бешеные темпы строительства, репрессии и сталинские лагеря, четырёхлетняя битва с фашизмом, и наконец – крушение СССР и установление товарно-рыночных отношений на постсоветском пространстве…

Носить в своём сердце, переживать и ежедневно осмысливать такой исторический опыт способен не каждый поэт. В этом смысле Блоку было легче. Легче и тем современникам, кто старается не заглядывать в эту чёрную, дымящуюся, гигантскую воронку.

Анатолий Аврутин – один из тех художников слова, кто осваивает это трагическое пространство, преодолевая нестерпимую боль, от которой пока что не придумали средства.

***В**от стихотворение Аврутина (по моему мнению, это один из шедевров его лирики), особенно характерное для его творчества и проникнутое "аврутинской" исторической безысходностью:*

Не со щитом, так хоть на щит…
Средь росной рани
О чём там иволга кричит
На поле брани?
Неужто, вовсе ни о чём,
Как на погосте?
Где тот, кто шёл сюда с мечом? –
Истлели кости.
<...> Опять идут за татью тать,
Гремя в тумане,
И нету времени вспахать
То поле брани.
Не всякий павший – знаменит…
У раздорожья
О чём там иволга кричит? –
Так птичка ж божья…

Родная для Аврутина Беларусь особенно пострадала во время Второй мировой войны и стала в прямом смысле "полем брани". Но поэт намеренно расширяет географические и временные рамки стихотворения, снова вторя Блоку ("И вечный бой! Покой нам только снится…"). "Только утраты, утраты, утраты – целая вечность утрат", – констатирует Анатолий Аврутин, характеризуя двадцатый век.

Эти утраты и страдания людей конкретизированы в стихотворении "Грушёвка", где солдатские вдовы "смывали с одёжки войну", стирая "обноски ребячьи / Да мелкое что-то своё", и лишь одна из женщин – счастливица – "рубаху мужскую / В тугую крутила спираль". Такова печальная бытовая статистика послевоенных лет. Сапожник, себе в ущерб, бесплатно чинит мужскую обувь, "если редкий клиент / На верстак его старый / Ставил пахнущий порохом грубый башмак / Иль кирзовый сапог, не имеющий пары". Вот, с лагерным номером на руке, "курит женщина, слёзы прячет".

Драматическая линия излома иногда проходит внутри одной семьи. Отец ("Служил у белых… Умница… Хирург…"), так и не смирившийся с советским названием Ленинграда, в 41-ом году гибнет "за Петербург", сражаясь в отряде народного ополчения. Его сын (очевидно, блокадный ребёнок), доживший до сегодняшних дней, не признаёт новых реалий "и Ленинградом Петербург зовёт – / Не говорите с ним о Петербурге!". Но разве кого-то из них – отца или сына – мы можем назвать неправым?!

Так и текут – мир этот в мир иной –
Одна печаль, но разные дороги.
И чудятся над вздыбленной Невой
Два города… Два мира…
Две тревоги…

Да возможно ли и самому поэту разорваться между прошлым и настоящим? Ведь и он родился в той стране, которой сейчас уже нет: "В двадцатом столетье осталась страна, / Меня снарядившая в эту дорогу".

Стихи Аврутина, посвящённые своим детству и юности, проникнуты особым чувством невозвратного счастья. И это не просто ностальгия по прошлому, по бесшабашной, полной сил молодости. Это печаль по уникальному времени, которое никогда не вернётся.

Анатолий Аврутин родился в 1948 году и принадлежит к поколению, которое можно назвать "детьми победителей". Несмотря на скудость быта, послевоенная атмосфера в СССР была наполнена оптимизмом и верой в светлое будущее. Страна, обескровленная войной, постепенно приходила в себя, и казалось, что каждый день приносит что-то новое и улучшает жизнь.

"Какая мостовая – а по ней / Какой же чудо-обруч гонит Юрка!". Пусть не у тебя, а пока только у соседей, но всё же появляются новшества техники. Например, телефон. И патефон. "Его за ручку можно покрутить – / Тебе дадут, ты ночью в сад не лазил…". Любимое обиталище подростков – неуютная товарная станция, "где души светлели от копоти чёрной / Под старою башнею водонапорной".

Обитатели полуголодного переулка претерпели немало бед – "но били в корыта весёлые струи, / И имя Господне не трогали всуе…".

А вот годы молодости. "Порою – по три дня ни хлеба и ни денег", зато на книжном базаре можно купить "запрещённых" авторов. И снова – каждый день влекущая новизна:

Уже в ходу Бальмонт…
Ещё не издан Ганин…
В журналах Рыбаков
огромнит тиражи.

И пусть молодой поэт – пока лишь деповский рабочий в промасленной телогрейке. Зато среди тяжёлой работы он мечтает о том дне, "…когда придёт ответ в расцвеченном конверте, / Что вдруг твои стихи отобраны в печать…". Какие там цены на колбасу?! "Чудесная пора… Газета – две копейки, / А за копейку даст напиться автомат".

Но где же сегодня заветный переулок детства – место лучезарных надежд и крылатых мечтаний? Он погиб вместе с эпохой, которую вынес на своих плечах:

Где дом мой?
Картаво проносят вороны
Сквозь бывший чердак
свой кортеж похоронный.
Неужто же век,
что так злобен и гулок,
Задул, как свечу,
мой родной переулок?

Если патефоны, примусы и корыта естественным образом уходят в прошлое, повинуясь техническому прогрессу, то безвременно утраченные человеческие жизни – жизни друзей и ровесников – безусловно на совести "злобного и гулкого века":

Всё сплыло…
Всё в Лету бесплотную сплыло –
И Толик Харламов…
И Пашка Сабило…

Не пригодились на постсоветском рыночном пространстве и друзья-писатели – бессребреники, "слепцы и поэты", наивно мечтавшие о том, что "скоро – первая книга, / Наверно, пойдёт нарасхват…". Умеющие дружить, но лишённые привычки бороться за место под солнцем, они тоже погасли, как свечи на ветру эпохи:

Не толкались друзья мои –
Истово, злобно, без толку.
И ушли, не простившись –
Негромкие слуги пера…

Анатолий Аврутин не вершит своего суда над историей, не зачитывает приговоров тем или иным политикам – он лишь заставляет нас задуматься над происходящим. И всё же многие его строки звучат как горький упрёк в непоправимости содеянного. В сердце поэта нет радужных надежд, и лишь стоицизм ещё ведёт его по жизни:

В двадцатом столетии… Горе уму,
Когда этот ум
существует для горя,
Впотьмах приближая
вселенскую тьму
И вторя вселенскому ужасу, вторя.
Так дай же мне руку!..
Спокойней вдвоём
Под суетным, дерзостным
небом Отчизны.
Мы вместе пришли сюда,
вместе уйдём,
И в сердце ни горечи, ни укоризны.

***А**натолий Аврутин – поэт, необычайно остро ощущающий быстротечность жизни, краткость земного бытия, бессилие и одиночество человека перед лицом вечности. Эта философская составляющая усиливает и без того невесёлый социальный мотив его стихов, ставя человеческое бытие на грань трагедийности.*

Один среди вселенской воли,
Не зная, прав я иль не прав,
Я всё стоял в холодном поле
И плакал времени в рукав.
Скорбел, что так оно промчало,
Что юность – где она, лови…
И что-то вещее звучало
В моей измученной крови.
И это тихое звучанье
Соединяло в миг сквозной
И быль, и небыль, и роптанье,
И тьму за жёлтой пеленой…

Соединяя "в миг сквозной" остроту одиночества ("Стою один… Не понятый никак", "И вдруг станет ещё одиноче / От того, что гульба вдалеке", "Каждый – в своём одиночестве") с бренностью жизни ("Мы пришли и уйдём… / И от нас ничего не останется", "О, эта жизни быстротечность, / Где вечность жаждет тишины", "Сосёнка шумит над обрывом, / А корни подмыло уже…", "Свет остановится в бледных очах – / Значит, так надо…."), Аврутин не раз подчёркивает, что такова же юдоль и русского поэта:

Писать стихи, пить водку,
верить в Бога…
И Родиной измученной болеть…
Одна поэту русскому дорога –
Чуток сверкнуть и рано отгореть.
А отгоришь, не понят и не признан,
Останутся худые башмаки,
Пустой стакан, забытая Отчизна,
Божественность
нечитанной строки…

Невостребованность высоких помыслов, прозаичность жизни и приземлённость мечтаний, ставшие нормой человеческого существования, ранят поэта больше, чем "худые башмаки", чем "в кармане дыра, и в убогой котомке – дырища".

Есть у Аврутина стихотворение "И солнце в зените. И, радостный, я…" – о некогда модной песне "Гренада". Бесхитростная история светловской "Гренады" – о том, как во время гражданской войны простой украинский парнишка покидает хату и уходит сражаться, "чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать". Юный красноармеец гибнет ("отряд не заметил потери бойца") не за свой земляной намер, не за собственное корыто, а за далёкую "Гренадскую волость" в Испании, которую он всего лишь "в книжке нашёл". Вот уровень притязаний, вот мера бескорыстия и возвышенность задач, достойные человека!

Аврутин подчёркивает, что гибель безвестного мечтателя не оказывается напрасной: ведь "землю – в Гренаде! – крестьянам отдать / Давно, между прочим, успели" (поэт имеет в виду, что в Испании прочно утвердились элементы социализма). А русские ребята снова идут в бой, но уже не знают – за что и за кого?

И снова на бархат похожий закат
В слезинках кровавых отметин.
И снова бесцельно дерётся отряд,
Потери бойца не заметив.
Но больше не вторят родные края:
"Гренада, Гренада, Гренада моя…".

"Новые песни придумала жизнь. Не надо, ребята, о песне тужить!" – уверял Светлов. Не знал он, какие песни "придумает жизнь". Корпоративный мажор, буржуазный гламур – вот что сегодня горланит "молодость мира".

Хороша или плоха была страна, объединявшая шестую часть суши, – но она подвигала человека на грандиозные задачи, на дерзновенный полёт мечты, на безудержную смелость замыслов. Отбери у человека такую возможность – и его существование становится бессмысленным. Вот отчего у Аврутина "бесцельная жизнь остаётся единственной целью"; "нам нечего сказать, нам некого беречь – / Последняя звезда сгорела в травостое".

"Только грохни ведром – отзовётся тоска мировая…". Эта мировая тоска по возвышенному смыслу жизни и связанное с ней ощущение бесцельности пути в поэзии Аврутина часто выступают как образ темноты или тьмы ("извечной тьмы", "вселенской тьмы"): "Опять недолог день… / Бредёшь меж тьмы и тьмы…", "Вновь темнеет… Резко… Скоро…", "Тёмен полдень, тёмен день. И живёшь вчерне…", "Тьма во тьму переходит, что хуже всего…", "Не темноту презрев, но тьму, / Напрасно вглядываюсь в полночь…", "Ты всё бродишь по свету, не зная, что кончился свет".

Свет – противоположность тьмы – олицетворение смысла жизни и надежд на будущее. "Дайте свет!.. Хоть бы капельку света, / Хоть бы тихую строчку, / Чтоб громко воскликнуть: "Живём!", – заклинает поэт. "Только б видеть и видеть, / А всё остальное – не в счёт". Свет нужен "забытому народу", тому "смурному мужичонке", который не только "с получки ночует в бурьяне", но и "ловок / Венец за венцом возводить колокольно". Он терпеливо вынесет физическую боль, но с укоризной пожалуется на боль душевную: "Кто заступник народный?.. / Чего он опять не идёт?..". И всё же бывают восхитительные минуты, когда свет открывается взору поэта. "Но какой горизонт! / Но какой горизонт просветлённый!".

И опять на песке
блики белого-белого света,
И опять золотая
небесно-невинная даль.
И светает в груди…
И душа по-над бренным воздета,
И парит над тобой
то ли Родина, то ли печаль.

В такие мгновения невольно рождается мысль о том, что "тьма – предвестье будущего света", и надежда на спасение неразрывна с судьбой Родины:

Россия… Родина… Рябина…
Распятье… Реченька… Роса…
О, как светло и не картинно
Парят над лугом голоса!
Парят… Схлестнулись в этом пенье,
Как в тёплой капельке со лба,
Судьба… Смятение… Спасенье…
Строка… Спасение… Судьба…

Продолжая лучшие традиции русской лирики, Анатолий Аврутин прочно утвердил в поэзии свой голос, свою интонацию. Ему выпала самая лёгкая задача – пронести классическую лиру *"сквозь сумрак времён"*, быть провидцем и стоиком в чуждой ему по духу стихии. Но рукописи не горят, и жизнь не окончена…